А. П.
ЧЕХОВ

В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

(настоящая фамилия — Леонтьев) — прозаик, драматург. По образованию — офицер-артиллерист. В 1883 г. вышел в отставку и занялся исключительно литературным трудом. Внучатый племянник скульптора Петра Клодта (автора Аничкова моста в Петербурге, памятников святому Владимиру в Киеве и Крылову в Летнем саду)

- И. Л. Леонтьев-Щеглов
  - 1. ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО
  - II. МОСКВА И ПЕТЕРБУРГ
  - III. ЧЕХОВ И ТЕАТР
  - IV. ПОСЛЕДНИЕ ВСТРЕЧИ
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13

- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47

И. Л. Леонтьев-Щеглов
Из воспоминаний об Антоне Чехове

1. ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

Одно из самых дорогих украшений моего рабочего стола — портрет Антона Чехова с дружеской надписью: «…на добрую нежную память о старине глубокой, когда мы познакомились…»

В самом деле, когда мы познакомились?

На фотографии помечено «12 января 1902 г.»; а познакомились мы… в декабре 1887 года… Старина, нельзя сказать, чтобы особенно глубокая!..

Знакомство произошло в большой зале ресторана гостиницы «Москва»;[1] помню даже такую мелочь — именно за последним столом у окна, что против входа в залу, — тем более помню, что за этим самым столом, по странной случайности, не раз приходилось скромно пировать со свежеиспеченным офицериком Каспийского полка Семеном Надсоном…

Заочно, по сочинениям, мы знали друг друга достаточно; но свидеться пришлось здесь лишь впервые; да, кажется, и в Петербурге Чехов был тогда впервые[2], по крайней мере в качестве литературной знаменитости.

Не застав А.П. в номере гостиницы, я оставил ему записку и сошел вниз, в зал ресторана… В ожидании, заказал стакан чаю, взял какую-то газету и уже было углубился в чтение, когда услышал вдруг около себя мягкий, деликатный оклик:

— По всей видимости… Щеглов?

Я бросил газету…

Передо мной стоял высокий стройный юноша, одетый очень невзыскательно, по-провинциальному, с лицом открытым и приятным, с густой копной темных волос, зачесанных назад. Глаза его весело улыбались, левой рукой он слегка пощипывал свою молодую бородку.

Я полюбопытствовал в свою очередь:

— По всей видимости… Чехов?

И мы оба рассмеялись.

Через какие-нибудь четверть часа я уже беседовал с Чеховым по душе, точно с человеком, с которым познакомился десять лет тому назад; а затем, когда в третьем часу пополуночи мы с ним прощались на подъезде палкинского ресторана (куда мы перекочевали из «Москвы»), он звал меня по-приятельски «Жаном», а я его «Антуаном»…

И вот пробежало семнадцать с лишком лет, а эти нежные дружеские отношения как завязались сразу, под веселую руку, так и остались душевно неприкосновенными на всю жизнь, невзирая на разность литературных положений и всяческие житейские

превратности.

Не умею вам сказать, как это так случилось: это секрет Чехова, который он унес с собой в могилу, — чудесный секрет… брать человека в душевный плен прямо с места! Не я один, разумеется, испытал на себе эту непосредственность чеховского захвата; хотя должен оговориться, что далеко не на всех распространял он в одинаковой мере свое душевное гостеприимство…

На моих глазах, между прочим, произошло такое «мирное пленение» Алексея Николаевича Плещеева.

Ал. Ник., с первых же рассказов Чехова, появившихся на страницах «Нового времени»[3], сделавшийся его горячим почитателем, с нетерпением ожидал появления в Петербурге самого автора. Чехов же почему-то предпочел явиться первый раз к маститому поэту вместе со мной, как с давним приятелем А.Н., и всю дорогу от гостиницы до квартиры Плещеева сильно волновался…

Чехов удивительно умел владеть собой, и это чуть ли не единственный случай на моей памяти, когда я его видел таким; видимо, он чуял, что через скромный плещеевский порог ему отмыкалась заветная дверь в большую литературу.

Алексей Николаевич, при входе Чехова, пришел в некоторое трогательное замешательство.

— Антон Павлович, наконец-то! Ну, вот, как я рад…

Антон Павлович на радушный прием полусконфуженно пробормотал какую-то любезность. Мы сели. Как теперь помню, Плещеев, для начала разговора, осведомился у Чехова об одном общем московском знакомом. Чехов чуть-чуть улыбнулся и обронил по адресу московского знакомого добродушное, но чрезвычайно меткое замечание, заставившее нас рассмеяться… И вот, не прошло получаса, как милейший А.Н. был у Чехова в полном «душевном плену» и волновался в свою очередь, тогда как Чехов быстро вошел в свое обычное философски-юмористическое настроение. Загляни кто-нибудь случайно тогда в кабинет Плещеева, он наверное бы подумал, что беседуют давние близкие друзья… и ни за что бы не поверил, что один из трех был совсем новый, приезжий гость. Да, явился Чехов к Плещееву почти чужим человеком, а вышел от него закадычным приятелем…

В этот первый приезд Чехова в Петербург редкий день что не приходилось с ним видеться: то мы виделись у Плещеева или у А.С.Суворина, то сходились, заранее сговорившись, в театре, то засиживались за поздним ужином у Палкина или в «Малом Ярославце»; несколько раз он был у меня, несмотря на то, что я тогда жил очень далеко от центра города — на Петербургской

стороне…

Экое, подумаешь, славное время было!.. Даже выражение «знакомство с Чеховым» как-то сюда не укладывается — вернее было бы назвать тогдашнее настроение — «опьянение Чеховым»… опьянение его талантом, умом, юмором, всей его личностью, чуждой фразы и мелочной условности. И я ли один, спрашивается, испытал это чувство? В большей или меньшей степени его переживали все соприкасавшиеся тогда с Чеховым… А кого только не перебывало тогда в его узеньком полутемном номерке гостиницы «Москва», начиная с маститых литературных знаменитостей и кончая неведомыми юными дебютантами? Этот месяц его пребывания в Петербурге[4] вышел словно «медовый месяц» чеховской славы, и сам Чехов заметно был захвачен искренним радушием, теснившим его со всех сторон. Отличавшийся чисто хохлацкой замкнутостью, Чехов в этот раз, против воли, сбивался со своего основного сдержанного тона и распахивался подчас с юношеской беззаботностью.

Грешный человек, я, в свою очередь, принимал эти случайные товарищеские излияния с одинаковой беспечностью и, счастливый душевной близостью дорогого человека, меньше всего помышлял о нем как о литературной знаменитости, чьи мысли и замечания просятся в записную книжку… До записыванья ли было в этом чудесном угаре дружбы и молодости? И только теперь, когда угар рассеялся, вижу, сколько драгоценнейших перлов безжалостно утеряно… Далекие воспоминания, словно морская пучина — сиди и жди, пока с возмущенного дна не выкинутся на берег, вместе со всяким посторонним сором, случайные редкие перлы!

А сколько погибло, между прочим, тонких «чеховских сюжетов», импровизированных под наплывом известного настроения и затем бесследно таявших в разгаре дальнейшей беседы. В моей памяти уцелели два-три из них и то, как в дымке тумана, без ярких подробностей, оживлявших тогда пересказ…

Один отрывок оставил во мне особенно сильное, неизгладимое впечатление. А история была самая будничная… «Молодой муж, учитель гимназии, собирается утром на службу. Жена, к его удивлению, еще не вставала, и он, встревоженный, идет в спальню и будит… Та нехотя поднимается, спускает ноги с кровати и вяло натягивает чулок на левую ногу… На его вопрос она сипло произносит одно слово: „Нездоровится“. Слово самое обыкновенное, но голос, каким оно произнесено, тусклый, безучастный взгляд, какие-то темные пятна, видные на груди от спустившейся с плеча рубахи, — все это заставляет молодого педагога похолодеть от предчувствия чего-то страшного,

неизбежного… Но ему все-таки надо идти на службу, он прощается и выходит на улицу… И вот здесь, на улице, его вдруг охватывает такая безысходная тоска, что он с трудом волочит ноги, точно ноги стали не его, а чужие… Да, он знает, что его жена скоро умрет, и знает, что доктора тут ничего не могут, и все-таки идет в гимназию… И в то же время думает про себя: зачем вообще всякие гимназии и педагогия, и столько тягостных хлопот — все одно, в конце концов, смерть?.. Он проходит мимо памятника Пушкину и опять думает: „Для чего теперь Пушкин, и сладкие стихи, и громкая слава, и все?..“

Разумеется, это была случайная импровизация за стаканом доброго вина; но, в устах Чехова, она произвела на меня тогда странное, щемящее впечатление, точно рассказ пушкинского Моцарта о загадочном появлении „черного человека“… Помните, у Пушкина:

> Мне день и ночь покоя не дает
> Мой черный человек. За мною всюду,
> Как тень, он гонится. Вот и теперь,
> Мне кажется, он с нами сам-третей
> Сидит…[5]

Чехову этот „черный“ гость тоже не давал покоя, и от времени до времени его призрак появляется то в образе „Черного монаха“, то в трогательном силуэте бедной „Кати Климовой“ („Тиф“); его зловещее дыхание уже чувствуется в жалобных стонах „Скрипки Ротшильда“, в „Скучной истории“ и „Попрыгунье“…

Припоминаю еще небольшой пересказ, начало какого-то романа, тоже, кажется, не попавшего на бумагу. Здесь отпечатлелась та же меланхолическая светотень смерти и жизни… Это было описание похорон, происходящих на кладбище, расположенном вблизи железнодорожной станции… Кого хоронили, теперь не помню; остались в памяти лишь подробности обстановки… „что в воздухе чуялась весна, что на соседней с вырытой могилой решетке бестолково чирикали воробьи, и печальное погребальное пение, относимое ветром в сторону, звучало почему-то совсем не печально… Стоящая впереди всех красивая полная дама поминутно сморкалась в платок, но по всему чувствовалось, что печаль ее не искренна и что она больше вслушивается в шум жизни, доносившийся со станции, чем в слова священника и возгласы певчих… Часть вагонов переводили на другой путь, и хриплые окрики кондукторов перемешивались с глухим цоканьем буферов и сердитым фырканьем паровоза… Из-

за низенькой ограды кладбища видна была часть станционной платформы; и видно было, как по платформе прогуливался тоненький офицер в военной тужурке, с хлыстиком в руке; какая-то беременная баба в желтом головном платке тащила корзину с бельем, а на бабу лаяла белая лохматая собачка, должно быть, собачка начальника станции“.

Дальше не помню…

Зато отчетливо помню остов другого рассказа, хотя заглавие его пропустил мимо ушей, кажется, он должен был назваться „В грозу“:

„Проселочной дорогой, по ржаному полю, идут трое: захудалый мещанин, портной по ремеслу, и два монаха. Один монах толстый, плешивый, болтливый, нечто вроде пушкинского „Варлаама“; другой длинный, молчаливый, похожий обликом на изображение угрюмых монахов на воротах лавры… Все трое сошлись случайно, подгоняемые надвигающейся позади них большой грозовой тучей. Однако же зловещая туча догоняет их, кругом темнеет, как ночью, и совсем близко от них разражается оглушительный удар грома. На счастье, около дороги попадается старый развесистый дуб, и они в смятении спасаются под его прикрытие… Между тем гроза, сопровождаемая вихрем и ливнем, обращается в настоящее светопреставление. Больше всех боится грозы толстый монах и, под внушением своего спутника, — мрачного монаха, сбивчиво прорицающего что-то из Апокалипсиса, начинает вдруг каяться в грехах, причем вдается в совершенно лишние подробности любострастного характера. Мещанин плачет и, после одного особенно сильного удара грома, тоже выбалтывает всякую дрянь… Но вот гроза проходит, горизонт проясняется и виднеющийся вдали, на горе, купол городского собора загорается солнцем. Монахи и портной отряхиваются, осматриваются, и всем троим делается стыдно. Толстый монах пытается свалить происшедшее с ним на бесовское наваждение, но неудачно… Молча доходят они до города и молча расходятся затем в разные стороны“.

Как жаль, что этот рассказ не был написан Чеховым!.. Если вспомнить удивительное описание грозы в чеховской „Степи“, можно наверное сказать, что получился бы один из тех заразительно жизненных, классически сжатых рассказов, какие умел писать только Чехов, — художественный перл, вроде его „Ведьмы“ и „Свирели“… А юмор Чехова — смелый, сочный, жизнерадостный, как бы ярко он вспыхнул здесь, хотя бы в той же покаянной исповеди блудного монаха!..

В этот первый писательский период источник чеховского юмора бил особенно сильной струей, и его брильянтовые брызги

сверкали в изобилии всюду — в рассказах, письмах, в устных беседах и случайных замечаниях.

Пьес Чехов тогда еще не писал, и одноактная шутка „Сила гипнотизма“, о которой он вскользь упоминает в одном из писем ко мне, так и осталась неиспользованной… Это была чуть ли не единственная из тогдашних чеховских импровизаций в драматической форме, из коей, впрочем, в моей памяти сохранилась лишь часть „сценария“…

Какая-то черноглазая вдовушка вскружила головы двум своим поклонникам: толстому майору с превосходнейшими майорскими усами и юному, совершенно безусому, аптекарскому помощнику. Оба соперника, — и военный, и штатский, — от нее без ума и готовы на всякие глупости ради ее жгучих очей, обладающих, по их уверению, какой-то особенной демонической силой. Происходит забавная любовная сцена между соблазнительной вдовушкой и толстым майором, который, пыхтя, опускается перед вдовушкой на колени, предлагает ей руку и сердце и клянется, что из любви к ней пойдет на самые ужасные жертвы. Жестокая вдовушка объявляет влюбленному майору, что она ничего не имеет против его предложения и что единственное препятствие к брачному поцелую… щетинистые майорские усы. И, желая испытать демоническую силу своих очей, вдовушка гипнотизирует майора и гипнотизирует настолько удачно, что майор молча поворачивается к двери и направляется непосредственно из гостиной в первую попавшуюся цирюльню. Затем происходит какая-то водевильная путаница, подробности которой улетучились из моей головы, но в результате которой получается полная победа безусого фармацевта. (Кажется, предприимчивый жених, пользуясь отсутствием соперника, подсыпает вдовушке в чашку кофе любовный порошок собственного изобретения.) И вот, в тот самый момент, когда вдовушка падает в объятия аптекаря, в дверях появляется загипнотизированный майор и, притом в самом смешном и глупом положении: он только что сбросил свои великолепные усы… Разумеется, при виде коварства вдовушки, „сила гипнотизма“ моментально кончается, а вместе с тем кончается и водевиль.

Помню, над последней сценой, то есть появлением майора без усов, мы оба очень смеялись. По-видимому, „Силе гипнотизма“ суждено было сделаться уморительнейшим и популярнейшим из русских фарсов, и я тогда же взял с Чехова слово, что он примется за эту вещь, не откладывая в долгий ящик.

„Что же, Антуан, „Сила гипнотизма“?“ — запрашиваю его вскоре в одном из писем…

„Силу гипнотизма“ напишу летом — теперь не хочется!»[6] — беспечно откликается Антуан из своего московского затишья.

Но прошло лето, наступила зима, затем пробежало много лет, и иные меланхолические мотивы заслонили беспардонно веселую шутку молодости[7].

Беседа с Чеховым была для меня величайшим наслаждением. Вопросы искусства и литературы, мимоходные мнения о разных лицах, самые заурядные будничные мелочи — все получало в его устах свежую оригинальную окраску, ту неуловимую прелесть жизни и юмора, которая почти непередаваема на бумаге. Наконец много говорено было с глазу на глаз такого задушевно интимного, товарищески откровенного, для чего пока не пришло еще срока.

Известное замечание Чехова, что «у русского человека настоящая беседа, по душе, всегда приходится после полуночи», — имело самое широкое применение в наших тогдашних беседах, и так как обстановкой их являлся, по обыкновению, ресторан, то нет ничего удивительного, что, по окончании собеседования, каждый из нас думал о постели, а не о посмертной славе и мемуарах.

Хотя П.А.Сергеенко в своих воспоминаниях о Чехове находит в нем черты «гетевской организации»[8], но, конечно, Антон Чехов по своей хохлацко-казацкой натуре был очень далек от педантичности Вольфганга Гете; а я отнюдь не обладал граммофонной способностью Иоганна Эккермана…[9] В моих черновых бумагах за 1887 г. отыскалось всего две строки на этот счет:

«8-15 декабря. — Познакомился с Антоном Чеховым. Импровизация Чехова. „Сила гипнотизма“ Чехова и т. д.».

«Сила гипнотизма» Чехова — не правда ли, как символично звучит сейчас эта фраза в применении к притягательной личности Антона Чехова? «Сила» эта пережила самого Чехова и распространяет до сих пор свое мистическое влияние в письмах Чехова и воспоминаниях о нем — то как посмертный упрек, то как чуткий совет, тоном остроумной шутки или сердечного замечания…

Спросите об этом всех, кто знал более или менее близко Чехова.

Наверное, все подтвердят то же самое.

II. МОСКВА И ПЕТЕРБУРГ

Осенью следующего года мне случилось быть в Москве, и, разумеется, первый визит мой был на Кудринскую-Садовую, где тогда проживал А.П.Чехов со своими родителями, сестрой и тремя братьями (Иваном, Михаилом и Николаем). В родной семье редко чувствуешь себя так душевно легко, тепло и уютно, как чувствовал я себя в радушной семье Чехова… в «Милой Чехии», по выражению А.Н.Плещеева.

Надо сказать, что очутился я в Москве довольно неожиданно, вызванный телеграммой Ф.А.Корша, ставившего в своем театре мою трехактную комедию «Дачный муж»… Благодарно вспоминаю, что в моем воспалительном авторском состоянии «Милая Чехия» сыграла благодетельнейшую роль согревающего компресса. Да это ли одно? Дорогой Ант. Павл. принимал в моем «Дачном муже» самое живое товарищеское участие: перечитывал пьесу — в рукописи, присутствовал с семьею в ложе на первом представлении, сделал мне несколько крайне ценных указаний… Между прочим, он советовал совсем откинуть третий акт, напичканный, по его выражению, «дешевой моралью», и заключить пьесу стоном дачного мужа, как доминирующим аккордом.

Как сейчас помню поздний осенний вечер на Кудринской-Садовой, в знакомом деревянном флигеле. Я сижу на диване в кабинете Чехова, а неподалеку от меня, согнувшись над письменным столом, сидит сам Чехов и при свете лампы что-то дописывает… Сверху, из второго этажа, доносятся нежные, меланхолические звуки шопеновского ноктюрна. Это брат Антона — Николай Павлович, художник, фантазирует на рояли. (Чехов очень любил музыку и особенно любил обдумывать свои работы под ласкающую музыкальную мелодию.)

Дописав страничку, Чехов кладет перо и оборачивается ко мне:

— Это утро, Жан, я думал о вас… все думал, отчего вы так мало сравнительно пишете! И, знаете, отчего это?

Он встал и, подойдя ко мне, тоном трогательной отеческой журьбы продолжал:

— Все оттого, что вы до чертиков субъективны! Так, Жан, нельзя… Нельзя выворачивать только пережитое — этак ведь никаких нервов не хватит!! Писателю надо непременно в себе выработать зоркого, неугомонного наблюдателя… Настолько, понимаете, выработать, чтоб это вошло прямо в привычку… сделалось как бы второй натурой!..

Я заметил Чехову, что в тридцать лет не так-то легко себя переделать, и что он, как врач по профессии, находится в этом отношении в более благоприятных условиях.

— Ну, этого не скажите, — проговорил Чехов, задумчиво пощипывая свою бородку. — Мне медицина, напротив, скорей мешает предаваться вольному искусству, мешает, понимаете, в смысле непосредственности впечатления! Как бы это вам объяснить потолковее?..

Чехов принялся ходить взад и вперед по комнате — обычная его повадка, когда он хотел что-нибудь рассказать или доказать, — потом остановился у окна и заглянул на освещенный луной дворик.

— Вот, например, простой человек смотрит на луну и умиляется, как перед чем-то страшно таинственным и непостижимым. Ну, а астроном смотрит на нее совсем иными глазами… у него уже нет и не может быть этих дорогих иллюзий! И у меня, как медика, их тоже мало… и, конечно, жаль — это как-то сушит жизнь…

Мы помолчали. Мысль Чехова неожиданно перескакивает в другую сторону, и, отвернувшись от окна, он смотрит на меня смеющимися глазами:

— Знаете что, Жан: напишемте-ка вместе развеселую комедию?.. Право же, это идея!

Откровенно сказать, идея эта пришлась мне очень по сердцу, и осуществление ее было, по-видимому, в пределах возможности. Но препятствие заключалось в том, что Чехов был коренной московский обыватель, а я жил постоянно в Петербурге и бывал в Москве изредка, наездами. Так идея эта и не осуществилась, хотя Чехов не однажды возвращался к ней во время наших свиданий. Но как раз, когда он стал соблазнять меня, «какую уйму деньжищ мы могли бы заработать таким гонкуровским способом»[10], нас позвали наверх ужинать.

Там уже семья Чехова была в полном сборе, с отцом Чехова, Павлом Егоровичем, во главе; был еще кое-кто из молодых, товарищей Ивана и Михаила Чеховых… Многим московским питомцам «Эрмитажа» и Тестова, вероятно, покажется ересью, если я отмечу здесь, что нигде и никогда так вкусно не едал и не пивал, как за столом у Чеховых, по крайней мере так весело и аппетитно. Достаточно я пожил на свете, но, повторяю, в редком доме встречал такое трогательное радушие, такую счастливую атмосферу душевности и непринужденности!.. Мать Чехова, дорогая Евгения Яковлевна, и его молоденькая сестра, Мария Павловна, были решительно добрыми гениями Антона Павловича, и нежно заботливому уходу, которым он был

неизменно окружен в свою недолгую жизнь, наверное, позавидовал бы не один современный муж…

После ужина Николай Павлович опять играл на рояли; потом что-то пели хором, чему-то оглушительно громко смеялись — и, в заключение, молодежь, возбужденная чудною лунною ночью, потащила меня, как приезжего гостя, шататься по стогнам первопрестольной. Антона Чехова тоже очень соблазняла прогулка, но у него на плечах была какая-то срочная работа… и он остался. Уходя, я видел, как он уселся за письменный стол, как-то по-стариковски сгорбившись, и снова взялся за перо.

Да, не мало тяжести лежало тогда на плечах бедного Антона! Можно сказать, весь дом Чеховых в то время держался на одном Антоне. И нужду же пережил он в начале своей писательской деятельности — боже упаси! Мне пришлось случайно пробежать одно из писем Чехова к Д.В.Григоровичу, где он описывает свои первые писательские мытарства, — даже жутко становится, когда вспомнишь, на чью долю выпало столько горьких мук!!

Тем более чести Петербургу, что он первый «открыл» Чехова и поддержал его морально и материально. Москва (то есть в сущности московская интеллигенция) очень много шумела на его похоронах и много перепортила могильных цветников в Новодевичьем монастыре; но чествовать писателя, достаточно уже прославленного в столице и за границей, не такая, признаться, громкая заслуга. Честь открытия все же остается за Петербургом. Москве, таким образом, принадлежит честь «зарытия таланта» — траурная церемония, нередко практикуемая московскими узкопартийными кружками даже при жизни писателя!..

Кстати сказать, меня немало озадачивала одна черта у Чехова: отчего он, коренной житель Москвы, так мало использовал эту коренную Москву в своих произведениях — эту удивительную Москву, так мало меняющуюся, когда все на свете меняется, все еще яркую, когда все тускнеет и подкрашивается под один однообразный серый цвет, кипящую юмором и анекдотами чуть не на каждом шагу в своих неведомых переулках и тупиках, в торговых рядах и трактирах!..

Теперь, вглядываясь вдумчивее в обстоятельства московской жизни Чехова, вижу ясно, что, именно живя в Москве, ему меньше всего времени было думать о Москве: приходилось исключительно думать о хлебе насущном и писать, писать, писать… Самое главное место занимал в этот «оседлый» московский период в его обиходе — письменный стол, тогда как в Петербурге, куда он наезжал изредка и где временно отдыхал от всяких работ и забот, заглавную роль играл пиршественный стол

— понимая, разумеется, это слово в широком символическом смысле. Оттого, в большинстве своих писем, он всегда с такой теплотой вспоминает свои петербургские дни, своих петербургских друзей и разные петербургские мелочи.

Но вопрос о том, какой из городов он больше любил — Петербург или Москву, — по отношению к Чехову до некоторой степени праздный вопрос. Чехов больших городов «вообще» не любил и мог бы ответить на такой вопрос стихом Бодлера:

> Я люблю… облака — там, в небесах,
> эти чудные облака!

Больше всего Чехов любил природу и лучше всего себя чувствовал на лоне природы. Наиболее жизнерадостные, наиболее тонкие и поэтические из его писем вылились из-под его пера именно с этого вечно юного лона! Все же Петербургу первое время принадлежали его лучшие симпатии и держались крепко добрый десяток лет, вплоть до злополучного первого представления на александринской сцене его «Чайки»[11]. Этот роковой день непредвиденно рассорил Чехова с Петербургом, и с той поры он делается его редким гостем или появляется на самое короткое время и с сохранением строжайшего инкогнито.

В общем этот первый период чеховской литературной известности — 1886 по 1896 год — можно считать наиболее счастливой половиной его личной жизни, причем самая безоблачная полоса захватывает первые три года (получение Пушкинской премии[12], шумный успех «Иванова»[13], сближение с А.Н.Плещеевым, Д.В.Григоровичем, П.И.Чайковским, Всеволодом Гаршиным, Владимиром Короленко и друг.). Зато и промелькнули эти первые годы нелепо, неуловимо, точно сладкий майский сон, промелькнули в безоглядной сумасбродной суете, оставив в воспоминании какие-то светлые праздничные клочки… [14] В Москве мы по большей части засиживались с Чеховым в дешевенькой ресторации Вельде (рядом с Малым театром), изредка ужинали у Тестова, и еще реже в «Большой Московской»…

Вспоминается мне, между прочим, одно полночное пиршество в «Большой Московской» гостинице в обществе А.П.Чехова и А.С.Суворина. Как ни был последний в то время удручен своей недавней семейной потерей[15], Чехов сумел-таки его расшевелить и зажечь. Надо и то сказать — тема, тронутая Чеховым (о рутине и тенденциозности, заедающих современную русскую литературу и искусство), пришлась особенно по душе Суворину, и он распахнулся, что называется вовсю, решительно

увлекая своей художественной чуткостью, заразительной искренностью и чисто юношеской запальчивостью… Тема оказалась, однако, чересчур обширной, и было неудивительно, что, когда мы покинули «Большую Московскую» гостиницу, на улице светало и в московских церквах звонили к ранней обедне. А между тем, Суворин все еще продолжал «гореть» и махать руками, и что-то доказывать… до самого подъезда «Славянского базара», куда мы его довели. Со стороны нашу компанию смело можно было принять за московских студентов, слушающих профессора-шестидесятника, и меньше всего, конечно, подумать… об издателе «Нового времени» и его сотрудниках…[16]

Да уж не во сне ли, в самом деле, это все было?..

О тогдашних «петербургских свиданиях» нечего и говорить: теперь, издали, они мне представляются какой-то непрерывной вереницей радостных тостов во славу русской литературы в лице Антона Павловича, бывшего повсюду почетнейшим застольным гостем. Числа и месяцы в этой суматохе невольно спутываются… То встречаешь с Антоном Чеховым новый год у Суворина, то справляешь вместе «капустник» у артиста Свободина, то присутствуешь на импровизированной в честь Чехова литературно-музыкальной вечеринке у старика Плещеева… Сегодня устраивается в «Малом Ярославце» торжественная «кулебяка» в день ангела Чехова, а спустя дня два сам Чехов тащит меня на Васильевский остров «на блины» к какому-то совершенно неведомому мне хлебосольному помещику — само собой разумеется, ярому поклоннику А.П.

Припоминаются невольно и собственные именины, справлявшиеся мной в оные дни весело и шумно, и на них в числе гостей — наиболее дорогие сердцу лица: А.Н.Плещеев, А.П.Чехов, П.М.Свободин… Пародируя шиллеровского «Дон Карлоса», с полным правом могу воскликнуть:

> «…О, эта жизнь была
> нелепа, но божественно прекрасна! Прошли все эти сны».

III. ЧЕХОВ И ТЕАТР

«Пишу докторскую диссертацию на тему: о способах прививки Ивану Щеглову ненависти к театру»… — острит в одном из своих писем Антон Чехов.

В следующем письме ко мне он снова дружески журит меня за мою слабость к драматургии: «Театр — это змея, сосущая вашу кровь. Пока у вас беллетрист не победит драматурга, до тех пор я буду есть вас и предавать ваши пьесы проклятию. Так и знайте».

В другом письме опять то же самое: «Вы хотите спорить со мной о театре? Сделайте ваше одолжение, но вам не переспорить моей нелюбви к эшафотам, где казнят драматургов. Современный театр — это мир бестолочи, тупости и пустозвонства!»[17]

Эта заведомая нелюбовь к театру, как к чему-то искусственному и низшему по существу, проходит доминирующей нотой в большинстве писем Чехова, в особенности в начале его литературной деятельности[18].

Драматургом же сделался он, можно сказать, нечаянно, попав однажды в театр Корша на представление заигранной одноактной пьески «Победителей не судят» (сюжет пьески вертится на укрощении грубого, но добродушного моряка великосветской красавицей). «Победителей не судят» — переделка с французского, и довольно-таки топорная, изящной салонной вещицы Пьера Бертона «Les jurons de Cadillac», в которой восхищали в шестидесятых годах в Михайловском театре петербургскую публику г-жа Напталь-Арно и г. Дьёдонне. У Корша отличались г-жа Рыбчинская и г. Соловцов, находившийся, кстати сказать, в приятельских отношениях с Чеховым. Соловцов своей дюжей фигурой, зычным голосом и резкой манерой, подходивший как нельзя более к заглавной роли, настолько понравился Чехову, что у него, как он сам мне рассказывал, явилась мысль написать для него «роль»… нечто вроде русского медведя, взамен французского.

Таким образом, появился на свет водевиль «Медведь» — чеховский театральный первенец, жизненностью и оригинальностью оставивший далеко за флагом своих шаблонных водевильных сверстников.

Сценический успех «Медведя» не помешал, однако, Чехову критически отнестись к самому исполнению. «Соловцов играл феноменально, — пишет он мне, цитируя любимое словечко режиссера театра Корша. — Рыбчинская была прилична и мила. В театре стоял непрерывный хохот; монологи обрывались аплодисментами. В 1-е и 2-е представление вызывали и актеров, и

автора[19]. Все газетчики, кроме Васильева[20], расхвалили… Но, душа моя, играют Соловцов и Рыбчинская не артистически, без оттенков, дуют в одну ноту, трусят и проч. Игра топорная». И заключает с обычным добродушным юмором: «После первого представления случилось несчастье: кофейник убил моего медведя. Рыбчинская пила кофе, кофейник лопнул от пара и обварил ей лицо. Второй раз играла Глама, очень прилично. Теперь Глама уехала в Питер, и, таким образом, мой пушной зверь поневоле издох, не прожив и трех дней».

Почти одновременно явился на свет непредвиденный «драматический выкидыш» (слово Чехова) уже в виде большой четырехактной комедии… Чехов недаром называл своего «Иванова» «выкидышем»: если «Медведь» написан был для Соловцова, что называется, в один присест, то «Иванов» был набросан чуть ли не на пари с Коршем в каких-нибудь две недели, тот самый «Иванов», который впоследствии произвел такой фурор на александринской сцене. В этот же «сезон», по его собственному свидетельству (письмо А.Н.Плещееву)[21], он написал «Степь», «Огни» и массу мелких рассказов… Это был ослепительный взрыв чеховского таланта, окрыленного шумным литературным успехом!.. Добавьте к этому, что в промежуток, между делом, он еще выпустил преуморительнейший одноактный водевиль «Предложение», сделавшийся сразу любимейшим детищем провинциальных сцен.

Вообще, надо сказать, к веселому остроумному водевилю Чехов питал явную слабость и в театре особенно любил смотреть веселые пьесы. И мне, и другим он не раз повторял, что «написать хороший водевиль — труднейшая штука», подразумевая под словом «хороший» искреннюю вспышку человеческого смеха. «Plus j'y reflechis plus je trouve, que toute la philosophie se resume en bonne humeur[22], - обмолвился как-то Эрнест Ренан, и в применении к воззрению Антона Чехова на добродушную веселую шутку эти слова великого ученого можно было передать по-русски грибоедовским стихом:

Да, водевиль есть вещь, а прочее все гиль…[23]

Когда несколько лет спустя, в одно из наших московских свиданий, я попенял Чехову, отчего он не написал обещанного водевиля („Сила гипнотизма“), Чехов задумчиво, как бы про себя, проговорил:

— Ничего не поделаешь… нужного настроения не было! Для водевиля нужно, понимаете, совсем особое расположение духа… жизнерадостное, как у свежеиспеченного прапорщика, а где

возьмешь, к лешему, в каше паскудное время?.. Да, Жан, написать искренний водевиль далеко не последнее дело!!

„Водевиль“ является, некоторым образом, в роли мирового посредника между Чеховым и театром. Что же до наших личных приятельских отношений с Чеховым, то тут он сыграл негласную роль свата, и сам Чехов признавался, что первую симпатию ко мне и желание познакомиться возымел, посмотрев в театре Корша мою комедию „В горах Кавказа“, которую, впрочем, он отнюдь не считал комедией, видя в ней лишь „счастливый образчик русского оригинального водевиля“ (что для меня тем более лестно).

Кстати сказать, наше последнее „петербургское“ свидание, по странному совпадению симпатий, вышло как раз „водевильное“, то есть произошло в ложе во время представления моего водевиля „Автора в театре нет“. Все время Чехов очень смеялся и, по падении занавеса, под гул последних аплодисментов, дружески-наставительно мне заметил:

— Вот, Жан, ваш настоящий жанр… Не бросайте, милый, водевили… поверьте, это благороднейший род, и который не всякому дается!

Возвращаюсь, однако, к „Иванову“.

Спешно написанный, еще более спешно разыгранный артистами театра Корша и возбудивший разноголосицу в московской прессе, „Иванов“ в конец расстроил нервы Чехову, когда автор, ввиду постановки пьесы на петербургской казенной сцене, принялся за переделку и взглянул на нее строгим оком художника… Впрочем, каждому оригинальному драматургу известно, что гораздо легче написать новую пьесу, чем переделать старую, а Чехову пришлось, вдобавок, переработать все коренным образом… Разница между московским и петербургским „Ивановым“ получилась разительная, доходившая до последней корректурной крайности, если вспомнить, что у Корша Иванов умирал от разрыва сердца, а на александринской сцене застреливался из револьвера… „Я замучился, и никакой гонорар не может искупить того каторжного напряжения, какое я чувствовал последние недели, — поверяет Чехов поэту Плещееву по окончании переделки. — Раньше своей пьесе я не придавал никакого значения и относился к ней с снисходительной иронией: написал, мол, и черт с ней. Теперь же, когда она вдруг нежданно пошла в дело, я понял, до чего плохо она сработана. Последний акт поразительно плох. Всю неделю я возился над пьесой, строчил варианты, поправки, вставки, сделал новую Сашу (для Савиной), изменил 4-й акт до неузнаваемости, отшлифовал самого Иванова — и так замучился, до такой степени

возненавидел свою пьесу, что готов кончить ее словами Кина: „Палками Иванова, палками!!“[24]

Едва ли автор мог подозревать, что в Петербурге „Иванова“ встретят овациями!..

На его авторское счастье, пьеса шла в бенефис режиссера Александринского театра Ф.А.Федорова-Юрковского (бенефис за 25-летнюю службу), ввиду чего роли были распределены между лучшими силами труппы, без различия рангов и самолюбий. Ансамбль вышел чудесный, и успех получился огромный[25].

Публика принимала пьесу чутко и шумно с первого акта, а по окончании третьего, после заключительной драматической сцены между Ивановым и больной Саррой, с увлечением разыгранной В.Н.Давыдовым и П.Я.Стрепетовой, устроила автору, совместно с юбиляром-режиссером, восторженную овацию. „Иванов“, несмотря на многие сценические неясности, решительно захватил своей свежестью и оригинальностью, и на другой день все газеты дружно рассыпались в похвалах автору пьесы и ее исполнению. Исполнение действительно должно было польстить Чехову; даже такая незначительная эпизодическая роль, как роль помешанного на картах акцизного Косых, в лице покойного Арди вылилась в яркий комический тип. Превосходны были Варламов и Жулева (супруги Лебедевы) и прямо великолепен Свободин в роли опустившегося язвительного графа Шабельского.

В тот же вечер, после четырехактного „Иванова“, шел старинный классический фарс „Адвокат Пателен“ (в 3 действиях), так что спектакль, состоявший в общем из семи актов, затянулся до второго часа ночи и не дал мне возможности поздравить Чехова после спектакля.

Я увиделся с ним на другой день, на веселом банкете, устроенном в честь его помещиком С[оковниным], восторженнейшим поклонником Чехова. Вид Чехов имел сияющий, жизнерадостный, хотя несколько озадаченный размерами „ивановского успеха“. На обеде было несколько литераторов, артист Свободин и дальний родственник последнего, пристав Василеостровской части, оказавшийся не только горячим почитателем А.П., но и вообще тонким знатоком литературы. Обед вышел на славу, причем славили Чехова, что называется, во всю ивановскую, а сам хозяин, поднимая бокал шампанского в честь Чехова, в заключение тоста, торжественно приравнял чеховского „Иванова“ к грибоедовскому „Горе от ума“.

Я взглянул искоса на Чехова: он густо покраснел, как-то сконфуженно осунулся на своем месте, и в глазах его мелькнули чуть-чуть заметные юмористические огоньки — дозорные писательские огоньки, свидетельствовавшие о непрерывной

критике окружающего… „И Шекспиру не приходилось слышать тех речей, какие прослышал я!“[26] — не без иронии писал он мне потом из Москвы.

Но русские поклонники родных талантов неумолимы.

Несмотря на то, что Чехов, переутомленный столичной суетой, спешил в Москву, восторженный помещик, вопреки всяким традициям, накануне отъезда А.П. собрал всех снова „на гуся“.

Снова шампанское, снова шумные „шекспировские тосты“…

Все это могло вскружить голову хоть кому, только не Чехову. Возвращаясь вместе с Чеховым после „прощального гуся“ на извозчике, я был озадачен странной задумчивостью, затуманившей его лицо, и на мой попрек он как-то машинально, не глядя на меня, проговорил:

— Все это очень хорошо и трогательно, а только я все думаю вот о чем…

— Есть еще о чем думать после таких оваций! — невольно вырвалось у меня.

Чехов нахмурился, что я его прервал, и продолжал:

— Я все думаю о том… что-то будет через семь лет? — И с тем же хмурым видом настойчиво повторил: — Что-то будет через семь лет?..

Как раз через семь лет было в Петербурге… первое представление чеховской „Чайки“.

Считать ли те слова пророчеством или предчувствием — бог весть! Но почему-то вспомнились они только сейчас, когда заворошились воспоминания о злополучном спектакле; а тогда и я пропустил их мимо, да и сам Чехов, по-видимому, тоже позабыл.

По крайней мере незадолго до представления „Чайки“ я получил от него из Мелихова сообщение об этом в самом жизнерадостном тоне: „Около 6 — жажда славы повлечет меня в Северную Пальмиру на репетиции моей «Чайки». Предполагается, что эта пьеса пойдет 17-го октября в бенефис Левкеевой, причем роль героини семнадцати лет, тоненькой барышни, будет играть сама бенефициантка. (Левкеева была очень толста, с усиками на губах и отличалась последнее время в ролях комических старух.)[27]

Но уже накануне спектакля я видел Чехова не в розовом настроении. Он только что вернулся с репетиции «Чайки» и имел вид совсем нездоровый, пил усиленно содовую воду и в антрактах резко критиковал исполнителей (кроме В.Ф.Комиссаржевской, которая, по его замечанию, одна вела роль в надлежащем тоне).

Что же такое случилось?

А вот возьмемте наудачу любую из петербургских газет, вышедших на другой день юбилейного бенефиса Левкеевой…

«Вчерашнее юбилейное торжество омрачено было беспримерным скандалом. Такого головокружительного падения пьесы мы не запомним…» — читаю в одной газете.

Разворачиваю другую: «Давно не приходилось присутствовать при таком полном провале».

Быть может, еще хотите взглянуть третью?..

«Чехова „Чайка“ погибла: ее убило единогласное шиканье всей публики. Точно миллионы пчел, ос и шмелей наполнили воздух зрительного зала — до того сильно и ядовито было шипенье…»

Перечитывая теперь эти театральные злыдни, прямо глазам не веришь! Чего тут только нет! «Птичья пьеса», «нелепица в лицах», «кляуза на живых людей», «экземпляр для театральной кунсткамеры» и т. д.

«Присутствовал весь литературный мир», — оповещалось в газетах. Но это очень громко звучит в печати, а на деле представляет какой-нибудь десяток добрых литературных имен. Прибавьте сюда дюжину чутких восторженных поклонниц Чехова… вот и все!.. Это капля в широком море бенефисной публики, той особенной петербургской бенефисной публики, которая, заплатив тройную плату за места, ищет на сцене вовсе не литературы, а любимой актрисы, в ослепительных бенефисных туалетах и раздражительно любопытного зрелища — зрелища и зрелища прежде всего!..

А ее, не угодно ли, угощают пьесой, написанной дерзко наперекор театральной рутине, да еще, вдобавок, исполненной в том тусклом банальном тоне, в каком актеры-любители разыгрывают всякие переделки. И г-жа рутина-публика точно вдруг помешалась от разочарования и с капризной придирчивостью вину актеров всецело перенесла на автора… Бедному автору ставилось решительно все в вину, самые простые мелочи!..

На сцене в первом акте, после захода солнца, темнеет.

— Почему это вдруг стало темно? Как это нелепо! — слышу чей-то голос позади моего кресла.

Во втором акте Треплев (Аполлонский) кладет у ног Нины Заречной (Комиссаржевская) убитую чайку. Рядом со мной опять кто-то ворчит:

— Отчего это Аполлонский все носится с какой-то дохлой уткой? Экая дичь, в самом деле!..

В антракте (между вторым и третьим действием) сталкиваюсь в проходе между креслами с одним превосходительным членом

театральной дирекции.

— Помилуйте, — говорю я ему, — разве можно такие тонкие пьесы играть так возмутительно неряшливо?

Театральный генерал презрительно фыркает.

— Так, по-вашему, это «пьеса»? Поздравляю! А по-моему, это — форменная чепуха!

Прохожу в буфет и встречаю там знакомого полковника, большого театрала. Вот, думаю, с кем отведу душу…

— Ну, и отличился же сегодня Сазонов! — негодую я: — Вместо литератора Тригорина играет доброй памяти Андрюшу Белугина?..[28]

Но миролюбивый полковник раздраженно на меня набрасывается:

— Да-с, и надо в ножки ему поклониться, что еще «играет»! Удивляюсь на дирекцию — как можно ставить на сцену такую галиматью!..

Возвращаюсь в партер, удрученный до последней степени.

В третьем акте, во время глубоко трогательной сцены между Аркадиной и Треплевым, в бенефисной публике, бог весть с чего, вызывает веселое настроение белая повязка, похожая на чалму, которую мать накладывает на голову раненого сына (в последнем издании «Чайки» Чехов сделал очень тонкую поправку в этом месте)[29].

Следующая за ней сцена между Аркадиной и ее сожителем — литератором Тригориным — прямо великолепна по реализму и оригинальности замысла. Но сцена разыграна была Сазоновым и Дюжиковой грубо и банально, и момент, когда Аркадина падает на колени перед Тригориным, показался большинству смешным и неестественным.

А сцена последней встречи Треплева с Ниной Заречной в четвертом акте? Она исполнена такого захватывающего лиризма, что ее невозможно читать без слез, и Нина — Комиссаржевская — начала эту сцену прекрасно; но в конце сцены незначительная авторская ремарка все испортила. Декламируя монолог, Нина стаскивает с постели простыню и накидывает на себя, как театральную тогу — и эта мелочь непредвиденно вызвала в публике глупый хохот. На втором представлении «роковая простыня» сдана была в театральную гардеробную, но конец пьесы — этот удивительнейший в своей трагической простоте конец — на первом представлении пропал, как проглоченная театральная реплика, возбудив последнее недоумение и… шипение.

«Чайка» кончена, и я выхожу из театра точно в дурмане. Впереди меня протискивается к выходу литератор Б. Он бледен,

как полотно, и на его обычно многодовольной физиономии написан ужас.

О, как я понимаю этот ужас истинного литератора после того, что случилось.

Заметят, пожалуй, что ж тут особенно трагического? Мало ли пьес на своем веку проваливалось, проваливается и будет проваливаться…

Если бы провалился в 1889 г. «Иванов», это было бы, пожалуй, сполгоря; но Чехов 1896 г. давно перерос автора «Иванова» и «Пестрых рассказов» — это уже был популярнейший и заслуженнейший русский писатель, и в лице его нанесена была обида чести русского литератора, вообще — обида, которой нет слов… Для человека, хоть сколько-нибудь знающего историю русской литературы, было до боли очевидно, что со времени оплевания в Александринском театре комедии Гоголя[30], мы ушли не далеко, и «через шестьдесят лет» в той же зале, наполненной образованной публикой, температура общественного уважения к писателю стояла на нуле!..

Для Чехова обида была тем чувствительнее, что именно «Чайка» — одно из субъективнейших произведений этого на редкость объективного русского писателя.

Вот вам, на семилетнем промежутке, два торжественные спектакля — и какая разница в результатах!.. И какая ирония! — добавил бы я, если вспомнить, что Чехов решительно не любил своего «Иванова» и называл его «Болвановым» и «психопатической пьесой» и искренно удивлялся, когда она увеличивала его доходы… Лично мне он как-то высказался об «Иванове», что это одна из тех пьес, «которая никогда не всосется в репертуар и будет даваться в провинции лишь в экстренных случаях, когда у антрепренера иссякнет запас новинок». «Чайку» же Чехов любил затаенной ревнивой любовью кровного художника.

И в самом деле, какое же может быть сравнение? Один «язык» в «Чайке» чего стоит!..

В «Иванове» много лишних слов, заметны следы вымученности и грубоватости, малодушные уступки в пользу театральной условности… В «Чайке», напротив, — настоящий, типичный Чехов: скупой на слова, презрительно враждебный к дешевым эффектам, стиль всюду тонкий, изящный, душевно проникновенный, напоминающий местами «стихотворение в прозе»… Характеристики второстепенных лиц, вроде Сорина, например, поражают своей живописной сжатостью: два-три штриха, и перед вами живой портрет, точно сейчас выскочивший из рамы.

Но меланхолическая, как вечерняя заря, «соната Шуберта»

была разыграна в тоне штраусовского «Персидского марша». После этого чего же удивляться, если в результате получилась невообразимая какофония?

Бедный Чехов, «бедный неразгаданный пионер»! Недаром он бежал из театра без оглядки, смертельно уязвленный в самое сердце…

Да, на первом представлении «Чайка» пала — но посмотрите, какая вдруг странность! — в своем падении она непредвиденно увлекла и повалила все театральные манекены и очистила путь новому, свежему веянию… Как-никак, а уже после «Чайки» на сцене стала немыслима прежняя ложь и мишура, и даже театральные закройщики в алчной погоне за успехом стали усиленно приспособляться к чеховской манере.

Я не без умысла так распространился о первом представлении «Чайки», ибо отныне этот день в истории театра является заметным символическим рубежом.

Когда года четыре тому назад я впервые попал в московский театр Станиславского и увидел на хмурой темно-серой занавеси ее единственное украшение — символ чеховской «Чайки», — я был растроган до слез… Осмеянная, неразгаданная новая идея, очевидно, свершила обычный мистический круг и нашла своего ревнивого служителя и поэта.

Повторяю, Чехов не любил театра, и его связь со сценой была не столько органической, сколько экономической; но раз театр его полюбил и обогатил («Иванов» и «Медведь»), Чехов не мог остаться равнодушным к его судьбам и из драматурга-импровизатора превратился в драматурга-новатора, вдумчивого искателя новых форм и настроений…

Эти искания тревожили его еще задолго до появления «Чайки». Помню, дня за два, за три до петербургского представления «Иванова» он очень волновался его недостатками и условностями и импровизировал мне по этому поводу мотив совсем своеобразного одноактного драматического этюда «В корчме» — нечто вроде живой картины, отпечатлевающей в перемежающихся настроениях повседневную жизнь толпы…

— Понимаете, при поднятии занавеса на сцене совсем темно, хоть глаз выколи… За окном гроза, в трубе воет ветер, и молния изредка освещает группы ночлежников, спящих вповалку, как попало… Корчма грязная, неприютная, с сырыми облезлыми стенами… Но вот буря стихает… слышно, как визжит дверь на блоке, и в корчму входит новый человек… какой-нибудь заблудившийся прохожий — лицо интеллигентное, утомленное. Светает… Многие пробуждаются и с любопытством оглядывают незнакомца… Завязывается разговор, и так далее. Понимаете,

что-нибудь в этом духе?.. А насчет «Иванова» оставьте, — резко оборвал он, — это не то, не то!.. Нельзя театру замерзать на одной точке!..

Как ни случайна и отрывочна приведенная драматическая фантазия, но она очень характерна для Чехова как драматурга и может быть отмечена как первый зародыш «пьесы с настроением» — новый до чрезвычайности сложный род, нашедший такого талантливого толкователя, как К.С.Станиславский.

Чехову тем более было тяжко пережить оскорбительное падение «Чайки», что самые близкие его друзья и сочувственники, наиболее способные по своему душевно-художественному складу угадать и поддержать новое искание, ушли в иной мир, конечно лучший, чем закулисный и журнальный.

Всеволод Гаршин, которого, несмотря на краткое знакомство, он успел полюбить всей душой, весной 1888 года кончает самоубийством[31].

Другой задушевнейший друг Чехова, П.М.Свободин, осенью 1892 г. умирает от разрыва сердца на сцене Михайловского театра во время представления комедии Островского «Шутники».

Наконец следующие два года похитили других двух преданных его сочувственников: поэта Плещеева и композитора Чайковского (последнему, как известно, посвящена Чеховым книга «Хмурые люди»).

Особенно нежно любил он Свободина, и его смерть вызывает со стороны Чехова глубоко прочувствованные строки: «А Свободин-то каков? Этим летом он приезжал ко мне два раза и жил по нескольку дней. Он всегда был мил, но последние полгода своей жизни он производил какое-то необыкновенно трогательное впечатление. Или, быть может, это мне казалось только, так как я знал, что он скоро умрет. Я, да и вы тоже, потеряли в нем человека, который искренно привязывался и искренно любил, не разбирая, великие или малые дела мы совершаем… Он за глаза всегда называл вас Жаном и любил сказать о вас что-нибудь хорошее. Это был наш приятель и наш заступник»[32].

Невольно вспоминается мне по этому поводу один эпизод, имевший место в январе 1891 года.

Накануне были мои именины, прошедшие шумно и весело, с почетным застольным гостем А.Н.Плещеевым во главе, и я проснулся довольно поздно. Разбудил меня чей-то сильный звонок. Горничная через дверь объясняет мне в замешательстве, что пришли какие-то два незнакомые господина и хотят непременно меня видеть.

— Кто такие?

— Они так сказывают, что чиновники от градоначальника и по весьма важному делу. — Наскоро одеваюсь и, не на шутку встревоженный, выхожу в залу.

И что же? Вместо полицейских чиновников вижу на пороге Чехова и Свободина. Оба весело переглядываются, явно довольные удавшейся мистификацией.

Излишне говорить, как я обрадовался, тем более обрадовался, что визит пришелся как раз на другой день именин, и я имел возможность достойно угостить дорогих друзей. Но все же долго не мог успокоиться, ибо времена были невеселые, и я имел основание сильно волноваться. За завтраком, между словом, я попрекнул Чехова за его выходку.

— Ах, Антуан, как вы меня ужасно расстроили! Вы ведь знаете, что я человек нервный и болезненный — и вдруг такая внезапность…

Чехов подлил себе и Свободину вина и окинул меня зорким, докторским испытующим взглядом:

— Ну, вам, Жан, нечего особенно беспокоиться!.. Нервы у вас, положим, щеглиные; но зато у вас кость широкая и легкие крепкие. — И добавил, добродушно ухмыляясь: — Вот увидите, вы еще на наших некрологах заработаете!!

И мы все трое весело чокнулись…

Увы!..

IV. ПОСЛЕДНИЕ ВСТРЕЧИ

«…Это началось с того вечера, когда так глупо провалилась моя пьеса», — говорит Треплев в «Чайке», и эти слова смело можно применить к истории болезни Чехова.

Доктор Тарасенков в своих записках «о болезни Гоголя»[33] выразил, между прочим, предположение, что в такой тонкосложной художественной натуре, какова была у Гоголя, душевные страдания являлись первопричиной телесного недуга, а отнюдь не обратно, — и это характерное для медика предположение можно всецело отнести ко всякой глубокой художественной натуре вообще и, в частности, к Антону Чехову.

Душевное потрясение в настоящем случае было слишком сильно и противоречие между двумя «приемами» слишком ошеломляюще, чтобы пройти без последствий… Насколько преувеличенно шумны были похвалы, венчавшие «Иванова», настолько же была груба до неприличия «обида непонимания», отметившая представление «Чайки». Это была смертельная обида в буквальном смысле, и долго потом Чехов не только избегал разговоров об этом представлении, но не выносил даже случайной обмолвки по этому поводу.

Злополучное представление, как уже известно, состоялось поздней осенью 1896 г.; а уже ранней весной следующего года — следовательно, менее, чем через полгода — Чехов лежал в московской клинике с явно обнаруженными признаками чахотки…

В апреле 1897 г., в бытность мою в Москве, я получил от Чехова открытку (со штемпелем от 5 апреля) с приглашением навестить его: «Милый Жан, буду с нетерпением ожидать вас. Приходите во всякое время дня, кроме промежутка от часа до трех пополудни, когда происходит кормление и прогуливание больных зверей. Я скажу швейцару, чтобы он принял вас. Или лучше всего, когда придете, пришлите мне со швейцаром вашу карточку, и я скажу, чтобы вас привели ко мне немедленно. Мне гораздо лучше. Я уже гуляю. — Обитатель палаты N 14, А.Чехов. Суббота. Клиника проф. Остроумова».

Невеселое вышло это свидание!..

Кроме того, в помещении, где находился Чехов, было еще двое больных, и это стесняло свободу беседы… Помещение — светлое, высокое, просторное, каковым русские литераторы редко пользуются, находясь в добром здоровье.

Чехов лежал на койке в больничном халате, заложив руки за голову, и о чем-то думал… Сбоку, вровень с кроватью,

помещалась предательская жестяная посудина, прикрытая чистым полотенцем, куда А.П. изредка откашливался. С другой стороны — столик, и на нем пачка писем, чья-то толстая рукопись и вазочка с букетом живых цветов. Увидя меня, он поднялся с кровати, протянул исхудалую руку и улыбнулся своей милой доброй «чеховской» улыбкой.

Я сел рядом на стул.

— Ну, что, Антуан, как дела?

— Да что, Жан, — плохиссиме! Зачислен отныне официальным порядком в инвалидную команду… Впрочем, медикусы утешают, что я еще долгонько протяну, если буду блюсти инвалидный устав… Это значит: не курить, не пить… ну, и прочее. Не авантажная перспектива, надо признаться!

И его грустное, утомленное лицо стало еще грустнее.

Чтобы переменить разговор, я обратил внимание на толстую рукопись, лежавшую на столике…

— Ах, это? Это один юноша мне всучил… Начинающий писатель — усиленно просил проштудировать… Поди, думает, невесть какая сладость быть русским писателем! — Чехов вздохнул и показал глазами на пачку писем: — Один ли он тут!

«Ну, люди, — подумал я про себя, — даже в госпитале, больному человеку, не дадут покоя!» — А это у вас от кого? — кивнул я на букет, украшавший больничный столик. — Наверное, какая-нибудь московская поклонница?

— И не угадали: не поклонница, а поклонник… Да еще, вдобавок, московский богатей, миллионер. — Чехов помолчал и горько усмехнулся: — Небось, и букет преподнес, и целый короб всяких комплиментов, а попроси у этого самого поклонника «десятку» взаймы — ведь не даст! Будто не знаю я их… этих поклонников!

Мы оба помолчали.

— А знаете ли, кто у меня вчера здесь был? — неожиданно и с видимым удовольствием вставил Чехов. — Вот сидел на этом самом месте, где вы теперь сидите.

— Не догадываюсь.

— Лев Толстой![34]

Я невольно разволновался.

— Вот интересно, о чем вы с ним разговаривали?

Чехов чуть-чуть нахмурился и уклончиво отвечал:

— Говорили мы с ним немного, так как много говорить мне запрещено, да и потом… при всем моем глубочайшем почтении к Льву Николаевичу, я во многом с ним не схожусь… во многом! — подчеркнул он и закашлялся от видимого волнения[35].

Очевидно было, что его более тронул и обрадовал самый

факт посещения, чем его душевный результат, и также очевидно было… что критика и мораль Льва Толстого у койки больного, нуждающегося писателя пришлась не совсем ко двору.

Чтоб излишне не утомлять Чехова, я поднялся и стал прощаться. Он проводил меня в коридор до самых дверей, убеждая навестить его в непродолжительном времени в Мелихове.

— Слышите, Жан, я беру с вас слово!.. И, пожалуйста, не откладывайте по обыкновению, ибо летом медикусы посылают меня на кумыс. — И уже у самых дверей он добавил, мягко улыбнувшись: — А ведь знаете, я почти привык здесь… здесь так удобно думать! А по утрам я хожу гулять, хожу в Новодевичий монастырь… на могилу Плещеева. Другой раз загляну в церковь, прислонюсь к стенке и слушаю, как поют монашенки… И на душе бывает так странно и тихо!..

Имея всегда под рукой сочинения Чехова и, при случае, перечитывая некоторые из них, я всегда умилялся глубокой правдивостью Чехова, сколько в изображении, столько же в настроении, — этой чертой истинного художника, не допускающего ни малейшей подмены ни в слове, ни в чувстве.

И теперь, набрасывая эти поминальные заметки о посещении палаты N 14, рука моя невольно потянулась к томику, заключающему в себе «Палату N 6», где описывается посещение церкви Андреем Ефимычем: «Стоя около стены и зажмурив глаза, он слушал пение и думал об отце, о матери, об университете, о религиях, и ему было покойно, грустно…»

Не правда ли — как странно? Чуть не дословное повторение чеховской последней фразы, случайно вырвавшейся при прощании в клинике… Это же меланхолически-религиозная нота проходит вскользь в одном из писем ко мне, где он упоминает об открытии памятника поэту Плещееву на кладбище Новодевичьего монастыря. «26 сент. освящали памятник на могиле Плещеева… Я слушал пение монашенок, думал о padre[36], о вас»[37]. Как видите, и в письме, и в беседе, и в повести, Чехов всюду один и тот же… всюду самый теснейший союз чувства и слова!..

Но это так, мимоходом, под наплывом дорогих воспоминаний.

Тогда же, выходя из клиники, я думал совсем о другом…

Я думал о печальной участи одного из самых правдивейших русских писателей, осужденного на медленное догорание в расцвете своего таланта. Сколько, подумаешь, всяких утомительных сочувствий окружало его больничную койку, и среди этой пестрой толпы сочувственников, великих и малых, не нашлось ни единого, который бы догадался позабыть на

больничном чеховском столике… «чек» на необходимую сумму для выезда за границу. А ведь такой «чек», вовремя полученный, мог бы спасти его, тем более, что Чехов, как это я узнал впоследствии, именно в это время находился в исключительной крайности. И вот, потрясенный физически и нравственно, он возвращается в свое подмосковное именьице на новые работы и заботы…

А вместо желанного отдыха на голову больного, нуждающегося писателя обрушилось доморощенное «Pollice verso!» («Добей его!») в виде неугомонного паломничества в Мелихово разных незваных гостей и непрошеных сочувственников. Кого тут только не было!..

То приезжает целая замоскворецкая семья, будто бы, «чтобы насладиться беседой бесценного Антона Павловича», а в сущности для того, чтобы отдохнуть на лоне природы от московской сутолоки, и заставляющая исполнять Чехова роль чичероне мелиховских окрестностей… То является какая-нибудь профессорская чета, говорящая без умолку с утра до вечера и жалующаяся на другой день Чехову, что им мешало спать пение петуха и мычание коровы… То налетает тройка совершенно незнакомых студентов, — по словам последних, «исключительно затем, чтобы справиться о драгоценном здоровье Антона Павловича», — и остающаяся на двое суток, и т. д., и т. д.

Все это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно[38].

Приехав в конце апреля в Мелихово, я прямо ужаснулся перемене, которая произошла в Чехове со времени нашего недавнего свидания в остроумовской клинике. Лицо было желтое, изможденное, он часто кашлял и зябко кутался в плед, несмотря на то, что вечер был на редкость теплый… Помню, в ожидании ужина, мы сидели на скамеечке возле его дома, в уютном уголке, украшенном клумбами чудесных тюльпанов; рядом, у ног Чехова, лежал, свернувшись, его мелиховский любимчик, собачка Бром, маленькая, коричневая, презабавная, похожая на шоколадную сосульку… Чеховски деликатно, меткими полунамеками, А.П. повествовал мне о своих житейских невзгодах и сетовал на вызванное ими крайнее переутомление.

— Знаете, Жан, что мне сейчас надо? — заключил он, и в его голосе звучала страдальческая нота. — Год отдохнуть! Ни больше, ни меньше. Но отдохнуть в полном смысле. Пожить в полное удовольствие; когда вздумается, — погулять, когда вздумается, — почитать, путешествовать, бить баклуши,

ухаживать… Понимаете, один только год передышки, а затем я снова примусь работать, как каторжный!

Я исподлобья взглянул на Чехова и подумал: «Боже мой! что сделала „литература“ с человеком в какие-нибудь десять лет! Тогда, при первой встрече в гостинице „Москва“, это был цветущий юноша, а теперь… чуть только не старик».

Но зато какая была вместе с тем перемена в духовном отношении! Это был как бы другой человек. В тот первый период жизнерадостной юности и неугомонных успехов Чехов обнаруживал «по временам» досадные черты какой-то студенчески легкомысленной заносчивости и даже, пожалуй, грубоватости… Но уже в третий свой приезд в Петербург (в 1891 г., после своего путешествия на Сахалин)[39] этих резких диссонансов как не бывало, что дало мне повод как-то заметить А.П. в интимной беседе, что «после Сахалина он значительно исправился». Чехов нимало не обиделся на мой случайный каламбур и сумрачно проговорил:

— Да, много чего я там насмотрелся… много чего передумал!

Смерть брата (художника) и путешествие на Сахалин наложили на Чехова свою мистическую печать… В своих работах он стал вдумчивее, углубленнее, в речах осмотрительнее, деликатнее, в отношениях к людям заметно сдержаннее. Пережитые потрясения точно открыли ему новое, более широкое поле зрения, и он глядел теперь вперед, как бы через головы людей, храня про себя ему одному ведомые психологические загадки и откровения. Видимо, даже самый недуг, постигший Чехова и физически его подтачивающий, косвенно влиял на это духовное обновление (невольно вспоминается чуткое слово Гоголя «о значении болезней»)[40].

Про теперешнего Чехова можно было сказать, несколько перефразируя, то же, что он сказал о своем друге, Свободине: «Он всегда был душевно притягателен, но последнее время производил какое-то совсем особенное, необыкновенно трогательное впечатление».

Не могу обойти попутно еще одной художнической черты: одновременно с личным совершенствованием совершенствовался и слог Чехова.

Зато как быстро и легко писал он вначале!

Помню, в первые дни нашего знакомства, зашел я как-то к нему в номер гостиницы «Москва». Вижу — Чехов сидит и быстро пишет. Я хотел было отретироваться, рассчитывая, что пришел не очень кстати и наверное помешал.

— Напротив, Жан, вы пришли как нельзя более кстати и должны мне помочь. Я сейчас описываю путешествие

«артиллерийской бригады» и боюсь, как бы где не наврать. Вот, будьте добры, как бывший артиллерист, внимательно проштудируйте эту страничку!

И он усадил меня на свое место. Передо мною было окончание известного чеховского рассказа «Поцелуй»… И мне попались на глаза следующие строки: «Само орудие некрасиво. На передке лежат мешки с овсом, прикрытые брезентом, а орудие все завешено чайниками, солдатскими сумками, мешочками и имеет вид маленького, безвредного животного, которого, неизвестно для чего, окружили люди и лошади. По бокам его с подветренной стороны, размахивая руками, шагают шесть человек прислуги. За орудием опять начинаются новые уносные, ездовые, коренные, а за ними тянется новое орудие, такое же некрасивое и невнушительное, как и первое. За вторым следует третье, четвертое, около четвертого офицер и т. д.»

Тут Чехов остановил меня:

— Нет, вы начните раньше… вот отсюда: «Впереди всех шагали четыре человека с шашками…» Я вам говорю серьезно, мне очень важно знать ваше мнение!

Я стал читать с начала и прямо был поражен верностью описания и еще более был поражен, когда рассказ появился в «Новом времени» (рассказ был стремительно закончен в тот же вечер и наутро сдан в набор), поражен удивительной чуткостью, с какой схвачен был самый дух и склад военной среды. Просто не верилось, что все это написал только соскочивший с университетской скамьи студентик, а не заправский военный, прослуживший по крайней мере несколько лет в артиллерии!

С строго придирчивой точки зрения можно, пожалуй, найти некоторые «длинноты», именно в описании движения бригады — единственный недостаток рассказа, написанного чуть ли не в двое суток… Даже его обширная «Степь», эта великолепнейшая поэма, на страницах которой природа дышит и люди шевелятся, как живые, написана была сравнительно очень быстро… Но, разумеется, и на солнце есть пятна, и одно такое незначительное стилистическое пятнышко я как-то указал Чехову, когда мы разговорились о «Степи». Именно почему-то вспомнилась в самом начале (где говорится о смерти бабушки) фраза, на которой я запнулся, читая впервые рассказ: «Она была жива, пока не умерла…» Что-то в этом роде.

— Быть не может! — воскликнул Чехов и сейчас же достал с полки книгу и нашел место: «до своей смерти она была жива и носила с базара мягкие бублики». — Чехов рассмеялся. — Действительно, как это я так не доглядел. А впрочем, нынешняя публика не такие еще фрукты кушает. Нехай![41]

И равнодушно захлопнул книгу.

Тогда он еще не достиг совершенства стиля, обнаруженного в позднейших произведениях, где идея, так сказать, вплотную срастается со словом. То была пора творческого половодья, когда река вдохновения выступала из берегов и несла смелого пловца вперед, минуя мели и пороги.

Когда после ужина мы перешли в кабинет, — тесноватый, но уютный чеховский кабинетик, — зашел разговор на эту же самую тему о стиле. Как раз незадолго перед этим я прочел его повесть «Моя жизнь», напечатанную в «Ниве» (в «Литературных приложениях»), и находился под обаянием ее художественной красоты. В этой повести, столь оскорбительно замолчанной критикой, Чехов выступает истинным мастером слова и, как стилист, становится плечом к плечу с Тургеневым. […] Напечатанные перед тем в «Русской мысли» и наделавшие столько шума «Мужики», признаться, меньше меня удовлетворили. Главный недостаток, на мой взгляд, было самое заглавие, слишком обобщавшее фигуры, явно списанные с пригородных мужиков (села Жукова), и в этом смысле какое-либо другое название, вроде, например, «Жуковцы», дало бы более мягкое освещение теме. Напротив, заглавие «Моя жизнь» было, по-моему, слишком мелко и скромно для такой глубоко захватывающей повести. Наконец меня озадачили в «Мужиках» две-три строки, прозрачно напоминавшие известную проповедническую манеру Л.Толстого, тем более озадачили, что Чехов был чуть ли не единственный из современных писателей, уцелевший как художник от толстовского влияния[42].

Все это без обиняков, по-товарищески, я выложил А.П.

— Оно, пожалуй, и так, — задумчиво отозвался Чехов, — а вот, небось, критика распинается за «Мужиков», а о «Моей жизни» — ни гугу!

Я указал Чехову на роман самого Л.Толстого: «Семейное счастье» — вещь изумительную по тонкости и глубине — и тоже почти пропущенную критикой. И потом, заметил я, «Моя жизнь» напечатана в «Ниве», а наши критики неисправимые рутинеры и, по-видимому, смешивают «Ниву» с журналом для малолетних, хотя страницы «Нивы» зачастую украшаются самыми громкими именами. Недалеко взять почтеннейшего А.М.Скабичевского (напомнил я ему), который открыл в Чехове талант лишь после того только, как он стал печататься в «Русской мысли».

Чехов, приготавливавший в то время к изданию «Мужиков», серьезно призадумался и затем нерешительно заговорил:

— Так вы, Жан, полагаете, что в издание и «Мою жизнь» можно будет включить?..

Я прямо развел руками при виде такого непостижимого авторского простодушия. Результат, однако, означенной случайной беседы был тот, что «Моя жизнь» вышла в свет в одном томе с «Мужиками» и, кроме того, в последних исчезли предательские строки, выдававшие мимолетное толстовское влияние[43].

Разговор завязался о «писании» вообще, и я напомнил Чехову о его рассказе «Поцелуй», который он шутя дописал почти на моих глазах в номере петербургской гостиницы.

— Славное время было! — вздохнул я.

— Было да сплыло! — вздохнул Чехов в свою очередь. — Теперь, если страничку в день нацарапаешь — и то благодать… Да и мешают мне здесь, не дай бог!.. Можете себе представить, не далее как на этих днях из Москвы пожаловала сюда чуть не дюжина гостей… Точно у меня, в самом деле, постоялый двор какой-то! И всех-то надо напоить, накормить, придумать, где уложить на ночь…

Чехов закашлялся, поднялся с дивана и плотнее притворил форточку.

Мы помолчали.

— Знаете, Жан, какая у меня мелькнула сейчас идея? — проговорил Чехов, и лицо его повеселело: — Верст десять отсюда сдается хуторок — снимемте его вместе на лето для «писания»… Туда к нам ни один леший не заглянет!

Мне оставалось только вздохнуть, так как личные мои обстоятельства не только не позволяли мне думать о такой соблазнительной перспективе, но и в Мелихове не позволяли оставаться более суток.

И видя, что меня с непривычки разморило с дороги, добавил:

— Однако идите-ка спать… а я сяду писать!

— Антуан, помилосердствуйте… скоро полночь! Ведь это вредно!

Он безнадежно махнул рукой.

— Что же делать, когда мне утром не дают ни минуты покоя!

В этом же смысле не раз жаловалась мне мать Чехова, добрейшая и гостеприимнейшая Евгения Яковлевна.

— Уж мы прячем Антошу, прячем — все-то ему мешают! — говорила она мне вздыхая.

На другой день я мог в этом убедиться воочию: в буквальном смысле ему не давали ни минуты покоя!.. С раннего утра к нему забрался какой-то помещик, который сидел очень долго, потом явился земский врач, затем сельский батюшка, затем еще кто-то в военной форме — кажется, мелиховский исправник… Из окна отведенного мне флигелька было отлично видно, как к крыльцу

скромного одноэтажного чеховского домика то подкатывала бричка, то деревенский тарантас, и как прислуга поминутно бегала через двор, из кухни в комнаты, с разной снедью и посудой, то накрывая на стол, то убирая со стола. А в маленькой проходной горенке, около чеховского кабинета, почти не переводились мужики и бабы — кто за делом, кто за пустяками, кто за врачебной помощью… И, в довершение несчастья, к завтраку свалился, как снег на голову, гость из Москвы — неведомый толстый немец, молодой и франтоватый, чуть ли не зубной врач по профессии (которого Чехов как-то случайно встретил в Москве около клиники и, как «коллеге» в некотором роде, сообщил гостеприимно свой мелиховский адрес).

Толстый немец был откомандирован со своим толстым чемоданом ко мне во флигель и заставил меня бросить срочную работу, взятую с собой, — корректуру, которую я должен был сдать на другой день в московскую редакцию. Когда фатальный немец ушел перед обедом осматривать мелиховские окрестности, я снова принялся за работу. Это была корректура только что законченной мной четырехактной комедии «Затерянный мудрец».

За работой я недослышал, как вошел в комнату Чехов, и, видя, что я занят, он молча прилег рядом на диване.

— Можно? — деликатно проговорил он немного погодя, протягивая руку к прочитанным гранкам.

Я, разумеется, выразил свое полнейшее удовольствие.

Как раз ему попался конец первого акта, заключающийся словами старика профессора перед портретом Пушкина: «Черт меня догадал родиться в России… с душой и талантом!..» Последнюю фразу Чехов прочел вполголоса про себя с особенной выразительностью и обратился в мою сторону.

— Это у вас, Жан… откуда?

— Это — слова Пушкина из письма жене[44].

— Как это странно… мне именно сегодня приходили в голову почти те же слова!..

Он задумался и принялся читать дальше.

Кстати сказать, около этого времени А.П. перерабатывал своего неудачного «Лешего» — из каковой переработки, как известно, получилась его лучшая драматическая вещь «Дядя Ваня»[45], - и, как это ни странно, обоих «сверстников» постигла одновременно одна и та же судьба, то есть обе не были одобрены литературно-театральным комитетом: мой «Затерянный мудрец» — петербургским, а его «Дядя Ваня» — московским… и обе нашли впоследствии приют на частной сцене: моя комедия в Суворинском театре, а чеховская — в театре Станиславского… Страннее всего, что и мой чуткий «затерянный» профессор (проф.

Макушин), и чеховский — бездарный, но «популярный» (проф. Серебряков) одинаково были отвергнуты «профессорским» синклитом. Житейская правда остается, таким образом, за Чеховым, так как в синклите не оказалось ни одного… Макушина!

Дочитав корректурные листки, Чехов сделал мне несколько ценных указаний «относительно необходимости в драматическом произведении большей простоты и близости к жизни, не только в речах действующих лиц, но даже в самых их именах и фамилиях»; и затем стал упрашивать меня погостить еще лишние сутки, убеждая, что корректуру можно отличнейшим образом переслать редакции почтой. Соблазн был очень велик, и я стал сдаваться, когда неожиданно вернулся с прогулки московский немец. Чехов вдруг закашлялся и скоро ушел, мрачно покосившись на толстый немецкий чемодан, загромождавший проход.

Ах, этот немец! Он испортил всю музыку…

Немец оказался, однако, довольно добродушным малым и сразу выложил свои карты… Дело в том, что у него была запасена где-то, на границе Румынии, невеста, и он собирался жениться, для чего и выхлопотал трехмесячный отпуск… И вот, проездом в Румынию, ему пришло в голову заехать к «коллеге» и погостить недельку-другую в Мелихове.

При последних словах я внутренно похолодел за Чехова и решил во что бы то ни стало спасти его от немца… Я чуял как художник, что Чехов не только был переутомлен недавним московским наваждением, но именно находился в том знакомом художническом возбуждении, когда особенно хочется работать… И я стал усиленно гипнотизировать немца — я ему стал объяснять, что Чехов первый русский писатель и что он серьезно болен и нуждается в полнейшем покое. […] Немец долго сосредоточенно думал, посмотрел с унынием на свой великолепный чемодан и вдруг решительно выпалил:

— Вы правы, Herr Щеглов: всякий черт сюда лезет!.. Давайте езжать назад!!

Я почти со слезами обнял благородного немца (сначала, признаться, я понял его фразу в единственном числе и не разобрал, что он ставит на одну доску свое шапочное знакомство и мою десятилетнюю писательскую дружбу!).

Нечего было делать — надо было «езжать назад»… вместе — уж выручать товарища, так выручать!

К величайшему недоумению Чехова, за обедом я мужественно объявил, что «мы» сегодня же должны непременно ехать в Москву и усердно просим дать лошадей, чтобы не опоздать на поезд.

Но этим анекдот не кончается…

Выехали мы вовремя и ехали все время благополучно, когда,

на половине дороги, немец вдруг побледнел и, ухватив кучера за кушак, остановил тарантас.

— Что случилось?

Немец тупо посмотрел на меня:

— Надо езжать назад: я забыл мой пальто!..

Мне сделалось нехорошо. Но внезапно счастливая мысль озарила мой мозг, и ко мне вернулось самообладание.

— Что ж, вернемтесь, — с мнимой покорностью поддакнул я, — только очень жаль… что вашей свадьбе теперь не бывать!

— Это зачем? — толстая физиономия немца выразила ужас и недоумение.

— Очень просто, зачем — затем, что нет на свете хуже приметы… как возвращаться с пути назад! Во время путешествия это самое роковое предзнаменование!..

И я привел ему наудачу два-три примера, когда самые лучшие планы рушились только из-за того, что человек возвращался назад за каким-нибудь пустяком. Был даже такой случай… Один мой товарищ, превосходнейший молодой человек, назначивший своей невесте свидание, забыл дома свой портсигар и вернулся с дороги. И что же бы вы думали? Невеста, не дождавшись в назначенный час жениха, неожиданно помешалась и выбросилась из окошка… А что до пальто (оставлено было второе, «осеннее пальто»), то я уверял его, что по нынешнему теплому времени оно было бы прямо в тягость, и самое лучшее телеграфировать со станции, чтобы пальто выслали по новому адресу — прямо по адресу вашей невесты, — лукаво добавил я. Напоминания о невесте размягчили сентиментального немца… и мы снова двинулись в путь, причем возбужденный немец даже посулил кучеру на чай[46].

Записывая теперь этот анекдот, вижу с горечью, что жертва моя куплена была слишком дорогой ценой. Мог ли, впрочем, я тогда подозревать, что это свидание с Чеховым «будет последним»?.. Не успел осмотреться в Мелихове, как уже пришлось уезжать!.. Урывками осмотрел я сельскую церковь в Мелихове, украшенную, по словам сторожа, усердием Чехова, видел мельком строящуюся школу (опять стараниями того же Чехова), урывками беседовал кой с кем из мелиховских мужиков, с трогательной ласковостью отзывавшихся о новом мелиховском помещике; а затем уцелели в памяти… уморительная собачка Бром, клумба с яркими фантастическими тюльпанами и благоухающий вишневый сад — этот отныне исторический «вишневый сад», в это утро первого мая бывший в полном цвету, точно нежный свадебный букет.

И говорить приходилось с Чеховым тоже урывками. Помню,

когда уже подали к крыльцу тарантас, Чехов что-то говорил мне, но я сильно волновался, и в памяти мелькают сейчас только отдельные фразы: «Когда-то, Жан, мы с вами увидимся?.. Что-то будет через семь лет?.. Теряем мы жизнь!..»

Когда мы уже хотели двинуться в путь, Чехов присел на подножку тарантаса и с полверсты провожал нас. Затем он слез и пешком пошел домой… Я невольно оглянулся ему вслед… Чехов шел чуть-чуть сгорбившись, опираясь на палочку, и, вероятно, думал про себя свою странную хмурую думу: «Что-то будет через семь лет?!»

Роковая цифра!..

Через семь лет пришла… европейская известность и вместе с ней — смерть.

1905[47]

notes

Примечания

1

Щеглов познакомился с Чеховым 9 декабря 1887 г. в Петербурге. В дневнике Щеглова есть запись, датированная 8-15 декабря 1887 г.: «Путаюсь с Антоном Чеховым. В среду 9 декабря познакомился с ним в гостинице „Москва“ и проговорили до 1 часу ночи — и с тех пор пошло» (ЛН, т. 68, с. 480).

2

Это был уже третий приезд Чехова в Петербург.

3

Первые рассказы Чехова, появившиеся в «Новом времени» в 1886 г.: «Панихида» (15 февраля), «Ведьма» (8 марта), «Агафья» (15 марта) и «Кошмар» (29 марта).

4

Чехов находился в Петербурге с 30 ноября до 14 декабря 1887 г.

5

Строки из второй сцены «Моцарта и Сальери» (1830) Пушкина.

6

Письмо от 2 ноября 1888 г.

7

Позднее Щеглов использовал чеховский сюжет, напечатав водевиль «Сила гипнотизма», с указанием: «Шутка в одном действии Ан. Чехова и Ив. Щеглова». В предисловии Щеглов написал: «Если текст в реставрированной „Силе гипнотизма“ принадлежит всецело мне, то весь сценарий и контуры действующих лиц слишком рельефно были намечены Чеховым, чтобы являлась необходимость от них отступать». Водевиль включен в книгу Ив. Щеглова «Жизнь вверх ногами. Юмористические очерки и пародии» (СПб., 1911).

8

В воспоминаниях о Чехове П.А.Сергеенко писал: «Отличаясь, подобно Гете, изумительной поэтической организацией, Чехов в то же самое время, подобно Гете, отличался и редким среди художников практическим, хозяйским, организаторским умом. Не будь Чехов писателем, из него вышел бы выдающийся агроном, отличный архитектор, превосходный инженер» (Литературные приложения к «Ниве», 1904, N 10).

9

Секретарь Гете Иоганн Петер Эккерман при жизни Гете подготавливал собрание его сочинений и вел дневник, в который записывал разговоры с Гете, мысли Гете и пр. Дневник был издан в Германии в трех томах. На русском языке впервые появился, в переводе Аверкиева, под названием «Разговоры с Гете», в 1891 г.

10

Имеется в виду совместное литературное творчество французских писателей, братьев Эдмона и Жюля Гонкур.

11

О провале первого представления «Чайки» в петербургском Александринском театре 17 октября 1896 г. см. восп. Авиловой, Потапенко, Читау.

12

Половина пушкинской премии была присуждена Чехову Академией наук 7 октября 1888 г. за сборник рассказов «В сумерках» (1887).

13

Большой успех пьесы «Иванов», поставленной в Александринском театре 31 января 1889 г.

См. вступит статью, с. 11.

15

2 мая 1887 г. застрелился сын А.С.Суворина — студент, Владимир Алексеевич, а летом 1888 г. умер другой его сын, Валериан.

16

Подобный отзыв о А.С.Суворине дает в своих воспоминаниях и А.В.Амфитеатров: «…я живо помню, как иной раз, — и далеко не редко, — в старике среди разговора, вспыхивал вдруг ярким светом радикал-шестидесятник и летели с его уст словечки и фразы не то что „либеральные“, а, пожалуй, и анархические» (Русское слово, 1914, N 151, 2 июля). А.С.Суворин, издатель реакционной газеты «Новое время», в молодости был демократически настроенным писателем. В 60-е гг. он сотрудничал в «Современнике» и «Отечественных записках»; под псевдонимом «Незнакомец» печатал фельетоны, пользовавшиеся большой популярностью у демократической интеллигенции; подвергался цензурным преследованиям; в 1866 г. за сборник «Всякие» был привлечен к суду. Став издателем «Нового времени» в 1876 г., вначале пытался придать газете умеренно-либеральное направление, но уже к концу 70-х гг. «Новое время» стало реакционным органом. Однако сам Суворин в личных беседах и в своем дневнике часто высказывался так, будто продолжал оставаться на позициях своей молодости.

17

Из писем Щеглову от 18 февраля 1889 г., от 20 декабря 1888 г. и от 11 ноября 1888 г.

18

Частые отрицательные отзывы о театре в письмах к Щеглову, возможно, диктовались тем, что Чехов считал его хорошим писателем и слабым драматургом и постоянно призывал вернуться к беллетристике, тем более что Щеглов очень переживал свои драматургические неудачи (см. восп. Потапенко, с. 330–332).

19

Водевиль Чехова «Медведь» был написан в феврале 1888 г. Впервые поставлен в театре Ф.А.Корша 28 октября 1888 г. Письмо Чехова к Щеглову о спектакле и игре актеров — от 2 ноября 1888 г.

20

Отрицательный отзыв о спектакле напечатал Флеров (Васильев) в «Московских ведомостях», 1888, N 302, 31 октября.

21

В письме А.Н.Плещееву от 15 сентября 1888 г.

22

Чем более я размышляю, тем более убеждаюсь, что сущность философии заключается в хорошем расположении духа (фр.).

23

Слова Репетилова из «Горе от ума» (1824) А.С.Грибоедова.

24

Письмо А.Н.Плещееву от 15 января 1889 г. Кин — герой пьесы А.Дюма-отца «Кин, или Гений и беспутство» (1836).

25

Первая постановка «Иванова» на александринской сцене состоялась 31 января 1889 г.

26

Из письма Щеглову от 18 февраля 1889 г.

27

В письме от 23 сентября 1896 г. Чехов, конечно, шутил. Комическая актриса Левкеева участвовала во втором спектакле («Счастливый день» Н.Я.Соловьева, 1877), поставленном в тот же вечер после «Чайки».

28

Персонаж из пьесы А.Н.Островского «Женитьба Белугина» (1877).

29

В изданном в 1901 и 1902 гг. томе пьес (изд. А.Ф.Маркса) Чехов заменил белую повязку у Треплева, похожую на чалму и вызывавшую смешки в зале, на темную.

30

Первый спектакль «Ревизора» в Александринском театре состоялся 19 апреля 1836 г.

31

Лично Чехов с Гаршиным знаком не был. Он писал Плещееву 31 марта 1888 г.: «Два раза был я у Гаршина и в оба раза не застал. Видел только одну лестницу», а 15 сентября 1888 г. на просьбу Плещеева дать рассказ в сборник «Памяти В.М.Гаршина» ответил: «…таких людей, как покойный Гаршин, я люблю всей душой и считаю своим долгом публично расписываться в симпатии к ним…»

32

Из письма Щеглову от 24 октября 1892 г.

33

Доктор А.Т.Тарасенков наблюдал Гоголя в последние дни его жизни, автор книги «Последние дни жизни Н.В.Гоголя» (СПб., 1857).

34

Известно, что Л.Н.Толстой посетил Чехова в клинике 28 марта 1897 г., но очень вероятно, что 5 апреля он был у Чехова вторично. Это подтверждает и сообщение, опубликованное Д.И.Азбукиным («К биографическим материалам об А.П.Чехове». — Русские ведомости, 1910, N 13, 17 января). Сведения о пребывании Чехова в клинике Азбукин получил от лечащего врача Чехова, ассистента Остроумовской клиники М.Н.Маслова, который рассказал Азбукину: «На седьмой день кровохарканье прекратилось совершенно. Теперь доктора получили возможность выслушать и выстукать больного, а он — ходить и разговаривать», и прибавил: «Был у него граф Толстой, и Лев Николаевич и Антон Павлович, гуляя по коридору, громко разговаривали». Это не могло быть 28 марта, когда Чехов не мог еще ни вставать, ни громко разговаривать. Другое подтверждение мы находим в воспоминаниях профессора А.Г.Русанова, который приводит выдержки из своего дневника, в частности, воспроизводит беседу Л.Н.Толстого с его другом, Г.А.Русановым, — отцом А.Г.Русанова, состоявшуюся в апреле 1897 г.: «Мне рассказывал Андрюша, — заговорил мой отец, — что у Остроумова все это время лежал Чехов, вы были у него?

— Я был у него два раза в клинике, — ответил Лев Николаевич» («Воспоминание о Льве Николаевиче Толстом». Воронеж, 1937).

35

В письме М.О.Меньшикову от 16 апреля 1897 г. Чехов писал: «В клинике был у меня Лев Николаевич, с которым вели мы преинтересный разговор, преинтересный для меня, потому что я больше слушал, чем говорил. Говорили о бессмертии. Он признает бессмертие в кантовском вкусе; полагает, что все мы (люди и животные) будем жить в начале (разум, любовь), сущность и цели которого для нас составляют тайну. Мне же это начало или сила представляется в виде бесформенной студенистой массы, мое я — моя индивидуальность, мое сознание сольются с этой массой — такое бессмертие мне не нужно, я не понимаю его, и Лев Николаевич удивляется, что я не понимаю».

36

Padre — прозвище поэта Плещеева в посвященной ему мной литературной характеристике. (Примеч. И.Л.Щеглова.)

37

Из письма Щеглову от 5 октября 1895 г.

38

Строки из стихотворения М.Ю.Лермонтова «А.С.Смирновой» (1840).

39

Это был не третий, а уже восьмой приезд Чехова в Петербург.

40

Имеются в виду строки из III главы «Выбранных мест из переписки с друзьями» (1847) Н.В.Гоголя, названной «Значение болезней»: «О! как нужны нам недуги! Из множества польз, которые я уже извлек из них, скажу вам только одну: ныне, каков я ни есть, но я все же стал лучше, нежели был прежде…»

41

Это место в «Степи» осталось без переделки (см. вступ. статью, с. 22).

Это не совсем так. В споре с А.Д.Курепиным 2 января 1887 г. о толстовской теории непротивления злу Чехов «доказывал, что нужно хорошенько разобраться» в ней, «а пока нельзя честно говорить ни за, ни против…» (Летопись, с. 148). В письме А.С.Суворину от 27 марта 1894 г. Чехов признавался, что толстовская философия «сильно трогала» его и «владела» им «лет 6–7», но позднее он стал относиться к ней недружелюбно: «… рассчетливость и справедливость говорят мне, что в электричестве и паре любви к человеку больше, чем в целомудрии и в воздержании от мяса».

43

Речь идет о предполагавшемся издании: «Мужики. Моя жизнь» (СПб., 1897). В повести «Мужики» с незначительной правкой повторяется журнальный текст.

44

Строки из письма Пушкина к жене от 8 мая 1836 г.

45

Чехов в 1896 г. доработал и завершил свою старую пьесу, написанную на основе пьесы «Леший», еще в 1890 г. (см. письмо Чехова С.П.Дягилеву от 20 декабря 1901 г. и статью Н.И.Гитович — «Когда же был написан „Дядя Ваня“ — в журнале „Вопросы литературы“, 1965, N 7). Под заглавием „Дядя Ваня“ включена в сборник Чехова „Пьесы“, изд. А.С.Суворина (СПб., 1897).

46

Вероятно, ошибка памяти. Кроме «толстого немца», в Мелихове в эти дни жил окулист П.И.Радзвицкий и подбирал Чехову очки. Именно Радзвицкий, а не «толстый немец», забыл в Мелихове свое пальто, что видно из писем Радзвицкого Чехову (ГБЛ).

47

Впервые — Литературные приложения к журналу «Нива», 1905, N 6 и 7. Печатается по тексту: Чехов в воспоминаниях современников. М., 1947, Гослитиздат, с. 396.